

Вахштайн В.С. : «Мы были «морем молодых», которые «выползли из тьмы»»

С начала 2005 и до января 2015 года я предварял журнальные и сетевые публикации проведенных интервью короткими вводными текстами, однако в первых числах февраля этого года такие тексты «удлинились». По-видимому, дело шло к этому, но в тот момент я писал введение к публикации 99-го интервью, и ощущение близкого завершения сотни бесед с российскими социологами настраивало на анализ сделанного. Так что чуть раньше или несколько позже практика «длинных» вводных текстов возникла бы.

Случилось же такое, когда я писал «вводку» к только что завершенной беседе с Виктором Вахштайном. И главная причина объемного введения - не значительность размера текста интервью (его настоящий журнальный вариант вдвое короче сетевого http://www.socioprognoz.ru/index.php?page_id=128&ret=207&id=138), а содержание нашего разговора. Путь Вахштайна в социологию, и то, что он уже сделал и делает, - в

высшей степени оригинальны. Вместе с тем, в рассказанном им я смог увидеть много ярче, чем в ранее проведенных беседах, подтверждение ряда своих рассуждений о плодотворности поколенческого прочтения истории советской и пост-советской российской социологии. Виктор — представитель VI профессионально-возрастной когорты нашего сообщества, и это позволило мне обнаружить в его жизненной траектории следы полувекковой истории отечественной социологии и, одновременно, некоторые тренды ее развития в ближайшие десятилетия.

Когда я отправляю Виктору электронное послание, я нередко спрашиваю его, где он находится. И с большой вероятностью я прогнозирую его ответ: «В аэропорту...». По-моему, «движение» — это образ Виктора Вахштайна. И наше интервью позволит узнать его тем, кто пока не знаком с ним, а тем, кто думает, что знают его, понять, знают ли они его...

Борис Докторов

— В последнее время я все более интересуюсь предысторией, или предбиографией, моих собеседников... действительно, когда-то я читал, что имя человека — важная информация о нем... действительно, это так... но имя — в широком понимании, не только имя собственное, но, конечно, и оно... много лет назад я спрашивал Жана Терентьевича Тощенко, откуда у него французское имя, Александр Филиппов рассказал историю имени его отца — Фридрих, петербургский социолог Тукумцев поведал о своем имени и отчестве — Будимир Гвидонович... и так далее... Не знаете ли Вы, происхождение Вашей фамилии — Вахштайн, мне кажется, здесь даже второе «а» редкое. Вообще, насколько глубоко Вы знаете историю своей родительской семьи?

— Историю своей семьи я знаю довольно хорошо; по отцовской линии чуть лучше, чем по материнской. Фамилия Вахштайн происходит из Австро-Венгрии, где ассимиляция еврейского населения была высокой. Изначально она писалась как «Вахшттайн» («сторожевой камень»), но потом «т» редуцировалась. Почему она не транслитерировалась в более привычное русскому уху «Вахштейн» — отдельная история. После аннексии Северной Буковины и ее присоединения к СССР в 1940 г. старший брат моего деда настоял на сохранении именно такого «спеллинга». Среди вахштайнов была традиционно много раввинов и библиотекарей. Что, в общем-то, не удивительно, семья отца родом из Черновиц — для них это был сакральный город, что-то среднее между еврейским Эльдorado и еврейской же Атлантидой. В нем я провел большую — судя количеству воспоминаний — часть детства. (Другую его часть я провел у второй своей бабушки, в Тбилиси).

Уже во взрослом возрасте я попытался найти — чем же таким отметились Черновцы в научном мире. Ну не может же быть так, чтобы город был настолько заметен в культуре и совсем незаметен в науке. В общем, единственное, что мне удалось найти о судьбоносной роли черновицкого университета (рядом с которым мы жили) в истории социальных наук — это дуэль Йозефа Шумпетера с местным библиотекарем. Шумпетера сослали из Вены на восточную окраину империи, в Черновцы, за бретерство и несносный характер. Он уже через несколько месяцев вызвал на дуэль университетского библиотекаря за то, что тот отказался выдавать книги его студентам. Небезосновательно — книги были до-



роги, и студенты имели свойство их периодически пропивать.

Виктором же меня называли в честь прадеда — меховщика, театрала, капрала австро-венгерской армии и лидера местной ячейки еврейской социалистической партии «Бунд». Точнее, не Виктором, а Авигодором. Но в еврейских семьях двойное произношение имени (одна версия — для христианского мира, другая — для ближнего круга) всегда было скорее нормой. Виктор-Авигодор, Самуил-Шмуэль, Семен-Шимен.

— Да, прав Флоренский и более старые авторы, имя — многое говорит... о многом говорит.

Виктор, Вы пишете: «Ну не может же быть так, чтобы город был настолько заметен в культуре и совсем незаметен в науке». Вы правы, и, допускаю, что Ваш вывод был бы иным, если бы Вы рассматривали науку, которую развивали в Черновцах, к примеру, как продолжение традиций интерпретации Торы. Ведь это самая настоящая философия, семантика... Не знаю, учились ли Вы у Г.С. Батыгина, но он на эту тему много думал и обсуждал ее...

— Есть такая гипотеза о влиянии процессов ассимиляции и еврейского просвещения (наскалы) на университетскую науку — мол, люди, поколениями читавшие Тору, вдруг вырвались на оперативный простор европейских университетов. Она всегда вызывала у меня сомнения. (Чтобы в ней усомниться достаточно посмотреть: кто читал Тору, а кто вырвался на оперативный простор.) Просто это две очень разные традиции обращения с миром и текстом, существовав-

шие порознь большую часть своей истории. Так что наука (пусть даже черновицкая наука начала XX века) — это одно, а иудейская традиция работы с текстом — совсем другое. Между ними, несомненно, есть пересечения и гомологии, но если смотреть на эти интеллектуальные традиции исторически, их нужно рассматривать как непересекающиеся множества.

Впрочем... кто же из нас смотрит на мир исторически?

Я учился у Геннадия Семеновича Батыгина в Шанинке, и наш курс был последним, кто слышал его лекции (он умер за месяц до синопсиса — предзащиты диссертаций). Меня всегда поражало, как ему удается использовать одновременно отсылки к хасидским притчам, греческой «пайдейе», диссертации Роберта Мертона об энтузиастических сектах, этосу научного познания, количественным исследованиям, римскому праву, неокантианству марбургского толка, пролетарской поэзии Гастева и филологии в духе Гаспарова. Для него все это были части единой мировоззренческой конструкции, организованной вокруг базовой метафоры: «мир как текст». Видеть мир сквозь эту метафору для него было естественно и, более того, равнозначно «следованию традиции».

Самое интересное, что его текстоцентричная методологическая установка — свести всю изучаемую область мира к некоторому корпусу прецедентных текстов — как-то легко уживалась с его предельно позитивистским отношением к методической работе. «Мир есть текст» — эта метафора в Батыгинской концептуализации вовсе не предполагала герменевтического продолжения «...и потому нуждается в интерпретации». Ровным счетом наоборот! По Батыгину получалось: «мир есть текст... поэтому, чтобы увидеть мир, нужно собрать корпус прецедентных текстов и провести количественный анализ частотных распределений употребления тех или иных лексем в данном узусе».

Я и мой однокурсник по Шанинке Дима Куракин восприняли очень большую часть батыгинской философии познания. Многие из того, что мы написали с Куракиным в соавторстве про прикладную эпистемологию социологического исследования — прямое продолжение наших разговоров с Батыгиным в Шанинке. Но... Настаивая на связи своей методологической позиции с иудейской традицией, Батыгин лукавил.

А может быть, и нет. Просто так странно понимал иудейскую традицию.

Ведь батыгинское поколение — полностью ассимилированное и большую часть жизни не имевшее никакого представления о существовании еврейской традиции — прошло огромный путь ее самостоятельной реконструкции. Они во взрослом возрасте (и при не самых благоприятных обстоятельствах) открывали для себя хасидский мистицизм — даже если не видели различий между хасидами и миснагедами. Они сами учили язык — пусть иногда путали иврит с идишем. Они осваивали комментарии Рамбама — хотя иногда считали Новый завет органической частью Ветхого. Это интеллектуальный подвиг, конечно. Но от такой реконструкции «иудейской традиции» оставалось очень странное ощущение: как от песен еврейского диссидентского подполья 1970-х годов — бардовский фольклор, казачья удаль, политический протест плюс несколько отсылок к Святой земле и дватри слова на иврите. «Иудейская философия» Батыгина явственно отдавала Аристотелем, Кантом, Когеном, русской литературой и учебой на философском факультете МГУ, помноженными на метафору мира как текста.

Мы поколенчески находились в иной ситуации. Среди 90-х годов — пик так называемого еврейского возрождения. Я включился в эту жизнь в 15 лет и оставался «внутри» до 21-го. А центральным элементом всей этой конструкции — еврейского национального возрождения — были так называемые Бейт-Мидраши: особый формат работы с текстами, раз-

бор изложенных в них аргументов как ходов в шахматной партии. Мы учились видеть идеи как вещи. Так получилось, что практика бейт-мидрашей объединяла трех вечных антагонистов (и самых активных игроков в этом культурном пространстве): ортодоксальных религиозников («датим»), автономистов-традиционалистов («Гиллель») и светских сионистов («Сохнут»). Все читали тексты, все учились с ними работать как с ресурсом собственного воображения и мышления. И не важно, кто во что верил или не верил. Закончилось все, конечно, тем, что на мидраши мы все реже брали религиозные тексты и все больше — теоретические. А потом я уехал в Москву учиться социологии.

Когда Батыгина уже не стало, я начал вести семинары по социальной теории, валидировал свой курс по социологии повседневности... Тут стало понятно, как именно нужно выстроить теоретические семинары — так, как мы работали с текстами на бейт-мидрашах. (Ведь прошло всего два года с того момента, как я вышел из этой культурной среды и включился в другую, научную, московскую.) Отсюда родился формат «Шанинского аналитического чтения». Это просто перенесенный, транспонированный в академическую рамку способ работы с текстами. Он существует в Шанинке уже десять лет, а в последние годы распространился в некоторых других регионах. В конечном итоге, наука — это не производство знания, а производство идей. Бейт-мидраш как метод чтения — просто один из способов такого производства.

— Вы оканчивали факультет психологии в Пензе. О чем было Ваше дипломное исследование?

— На первых курсах я планировал заниматься экспериментальной наукой (что довольно наивно звучит в условиях Пензы конца 90-х), потом переключился на клиническую психодиагностику (благо, практика в психиатрической клинике быстро избавила меня от иллюзий), на последних курсах занимался исключительно теоретической психологией, старался показать, как социально-психологическая теория может ответить на вопросы, поставленные экзистенц-фило-софией.

Тогда же у меня появилась идея совместить приятное с полезным. В дипломе (а он, по старой советской традиции, не мог быть чисто теоретическим) я пообещал исследовать связь между ценностными ориентациями и локусом контроля. Но делать это на своих сокамерниках по вузу было бы тратой времени. Поэтому я поехал на полгода в Штаты, в Йеллоустонский национальный парк работать поваром в ресторане. Так что первое мое самостоятельное исследование получилось кросс-культурным: мы весь день «стояли в лайне» (моя официальная позиция называлась «Line cook II»), потом еще несколько часов тихо выпивали у себя в кают-компании (тихо — потому что большинству не было 21-го), а потом я доставал опросники Роттера и Рокича... Чудом уцелел.

Но, конечно, самым ценным в той поездке были не дурацкие психологические тесты, а удивительная возможность наблюдать, как гигантская отлаженная корпоративная машина существует за счет множества локальных хитростей и уловок. Мои друзья-повара обязаны были на время обеденного перерыва «выходить из системы» (check out), чтобы им не платили за то время, что они обедают. Наши, разумеется, никогда этого не делали. Поэтому машина автоматически вычитала у них час рабочего времени, полагая, что они «просто забыли». Когда это стало ясно через месяц, средняя продолжительность обеда у сотрудников упала до 20 минут (они честно выходили из системы на 20 минут, а обедали все равно на рабочем месте в рабочее время). Аналогичная история была у официантов. Они должны декларировать свои чаевые и платить с них налоги. Если их не декларировать совсем, HR вас уволит — потому что если вам не платят часовых, значит вы плохой официант. «Минимально приемлемый порог» вновь был найден очень быстро. Выяснилось, что официант за ве-

черную смену зарабатывает в среднем от 15 до 20 долларов (реально, конечно, в 4-5 раз больше).

Я фиксировал в дневнике все эти мелкие ходы, тактики, уклонения, поражался параллельности сюжетов поведения у поваров, официантов, менеджеров, хостов. А спустя несколько лет прочитал у Гарфинкеля «...убрать все эти незаметные нерелексивные практики, чтобы посмотреть, на чем держится социальный порядок — все равно, что убрать стены, дабы увидеть, на чем держится крыша» и понял, что до поступления в Шанинку был стихийным этнометодологом.

Диплом я защитил легко. В кулуарах после защиты мне задали только один вопрос — когда я уже, наконец, уеду из города.

— Я дважды погружался в психологию. В конце 1960-х помогал ленинградским психологам из коллективов Б.Г. Ананьева и Е.С. Кузьмина в математической обработке экспериментальных материалов, в 1970 г. — защитил кандидатскую по психологии. И в начале этого века, когда изучал биографию Джорджа Гэллапа, писал в университет Айовы, где он учился, получил его личное дело со всеми изучавшимися им предметами, читал книги его преподавателей, которые обучались у Фехнера, Гельмгольца. И вообще Гэллап и первые американские полстеры вышли не из социологов, как в России, а из психологов, в их понимании, они изучали установки. Так что в Шанинке Вы в принципе могли во всю использовать и свои знания в области экспериментальной психологии, но Вас уже потянуло в этнометодологию. Сегодня, по прошествии более десятилетия, в чем Вы видите причины возникновения Вашего интереса к этой методологии?

— Я Вам страшно завидую! Вы застали Ленинградскую школу, о которой я только слышал...

Исследование установок — проверенный мост между двумя дисциплинами. Сколько диверсантов пересекли по нему междисциплинарную границу (причем, в обоих направлениях). Благодаря исследованиям установок масса социологов 60-х годов сделали себе репутацию в психологии (взять того же Владимира Александровича Ядова с его «Диспозиционной концепцией регуляции социального поведения»). Правда, с парадоксом Лапьера им справиться так и не удалось. Мой вступительный реферат в Шанинку был отчасти об этом — почему в принципе невозможно полагаться ни на какие (даже самые точные) измерения установок, если исходить из допущения, что они действительно позволяют «предсказать» поведение. Пришлось искать другие пути трансфера в социологию. Точнее, я их не искал — они меня нашли.

После университета я поехал в МГУ, в надежде поступить в аспирантуру на кафедру психологии личности к А.Г. Асмолову. Но по дороге свернул в Шанинку, на день открытых дверей. Там я увидел две вещи:

а) библиотеку (в начале 2000-х библиотека Шанинки производила неизгладимое впечатление на неискушенные умы — настоящая библиотека настоящего английского университета);

б) А.Ф. Филиппова, на тот момент декана «шанинской» социологии.

В общем, в этот день все стало на свои места. Я понял, что мне нужно продолжать заниматься фундаментальной теорией. Потом отдал себе отчет в том, что мне все равно, какой теорией заниматься — социологической или психологической. Я решил, что должен учиться здесь — любой ценой, в этой библиотеке, у этого человека. Пакет документов для отдела аспирантуры МГУ полетел в корзину. И я сел писать реферат про установки и социальное поведение. А через месяц уже переехал в Москву.

— В каком году Вы поступили в Шанинку, кто кроме Г.С. Батыгина и А.Ф. Филиппова преподавал Вам

социологические курсы? Что на Вас производило большее впечатление: новые темы, концепции, имена или система преподавания, открытость, приглашение к дискуссиям? Кто еще одновременно (год-два раньше или позже) учился социологии? Есть ли у нас сегодня право говорить, что происходило формирование «шанинской» социологической школы?

— Я переехал в Шанинку осенью 2002-го года. Первый год жил там же — в общежитии на кампусе. Основной круг преподавателей включал в себя А.Ф. Филиппова (Социологическая теория), Г.С. Батыгина (Методология исследования), В.В. Радаева (Социальная стратификация, Экономическая социология). Опционально я слушал курсы Т.И. Заславской, В.А. Ядова, Л.М. Дробижевой, С.П. Баньковской.

Сложно сказать, что производило наибольшее впечатление. Мы были «морем молодых», которые «выползли из тьмы». Кто-то из «тьмы» своих регионов, кто-то из «тьмы» 90-х. Дима Куракин, окончивший МГУ тремя годами ранее, успел поработать в диком риэлтерском бизнесе (в частности, ездил с битой на «разборки») и пришел в Шанинку читать книги. Для меня это было первое вхождение в академический мир. Атмосфера неангажированного научного поиска. Абсолютная свобода выбора курсов и исследовательских тем. Интенсивное общение на семинарах. Постоянное чтение (я никогда столько не читал ни до, ни, увы, после). Постоянная погруженность в тексты — в Шанинке нет устных экзаменов или тестов, единственная форма отчетности: научная статья.

Спускаясь после пар в столовую, вы видели «кружки»: группа студентов вокруг Крыштановского в одном углу, группа студентов вокруг Филиппова — в другом. Преподаватели уходили, студенты оставались и образывали общий круг. Тогда в учебных заведениях еще не запретили продавать алкоголь. В мае мы все поехали на море — на турбазу, где работала мама одной из наших однокурсниц. В поезде обсуждалась теорема Томаса, тонкости перевода немецкого «Gemeinschaft», логистическая регрессия, проблема детей-маугли у Дюркгейма, преимущества марбургского неокантианства перед баденским, ограниченность метафоры «поведение вопроса» применительно к анализу опросного инструментария... В конце поездки проводники в нашем плацкартном вагоне стали нас демонстративно игнорировать. (Они явно предпочитали баденское неокантианство марбургскому.) На турбазе я как-то заснул у костра под разговоры о социальной организации жизни енотов и проснулся утром — когда Куракин с однокурсницами уже разработали теорию нового речевого акта («енотатив», акт социального конструирования енота).

Вообще о Шанинке конца 90-х — начала 00-х довольно много написано и будет написано еще больше. Это уже легенда. Недавно я поднял свои конспекты, аудиозаписи лекций, сделанные Митей Куракиным, эссе своих однокурсников... И понял ужасную вещь: моя память все перекрасила в неоправданно радужные тона. Будем откровенны: мы были дико мотивированными, плохо образованными и зачастую откровенно глупыми студентами. Дети-маугли по Дюркгейму. Те, кто учились после нас — гораздо умнее и несоизмеримо лучше подготовлены. Эссе, за которые мы получали 70 и выше (британский эквивалент «пятерки»), сегодня не получили бы и 60-ти. Лекции наших учителей носили откровенно просветительский характер и были ориентированы на заведомых дикарей, читающих на английском по слагам. Да и сама Шанинка была именно просветительской институцией, которая по условию Дж. Сороса не могла учить москвичей бесплатно и давала стипендии только амбициозной молодежи из регионов. Но в этом и был драйв — остаточный драйв 90-х. Вся школа заточивалась Теодором Шаниным под просвещение и формирование нового поколения ученых. Именно так и было записано в миссии: «нового поколения». В един-

ственном числе. Мне просто повезло стать частью этого поколения, которое и писало уже следующую повестку дня.

Поколенческий драйв Шанинки станет чуть понятнее, если мы посмотрим на демографические тренды постсоветской науки. Сегодня очень сложно найти социолога 45-ти лет. Либо 27-37, либо 55+ Потому что в 90-е воспроизводство научных кадров прервалось, аспирантуры опустели. Все, кто мог, или уехали заниматься наукой за рубеж, или предпочли заняться чем-то другим в России. Возник поколенческий разрыв. Те социологические имена из поколения 27-37, которые мы слышим сейчас, — это почти сплошь выпускники Шанинки.

Была ли шанинская школа школой? Если понимать под школой единство аксиоматики и общность «когнитивного стиля», то нет, не была. Уникальность Шанинки была в том, что сразу несколько очень сильных и очень разных ученых делили друг с другом общее пространство и общих студентов. Каждый из них создавал свой «кружок». Но школой это так и не стало, ни тогда, ни сейчас. Сегодня Шанинка — это интеллектуальный клуб, объединяющий несколько поколений. Но все же школы суть нечто большее, чем социальное, институциональное или поколенческое явление. Они существуют в мире идей, а Шанинка — просто дверь в этот мир.

— Осень 2002 года, Г.С. Батыгину — 51 год, А.Ф. Филиппову — 44, В.В.Радаеву — 41. Молодые преподаватели отбирали себе подготовленных студентов, с которыми они могли бы (потенциально) обсуждать «наблевшее». Это создавало предпосылки для открытой, активной формы обучения, да и модель обучения, предложенная Теодором Шаниным, была рассчитана именно на это. Выше Вы немного рассказали о характере и содержании общения с Батыгиным, он и стал Вашим ментором? Под чьим руководством Вы делали дипломное исследование, чему оно было посвящено?

— Сейчас ностальгия и моя многолетняя лояльность Шанинке опять все испортят... Но я постараюсь быть объективным.

Недавно с Павлом Степанцовым и Василием Кузьминовым мы провели исследование политических режимов российских университетов — смотрели, как распределяются разные типы ресурсов, как принимаются решения, как устроена внутренняя и внешняя коммуникация. Вот если оттолкнуться от этой метафоры — политического режима — Шанинка начала 00-х была меритократической республикой, во главе которой (на всех этажах) стояли харизматические лидеры. У руля — главный харизматик, Теодор Шанин. О нем я еще не раз вспомню, но, будучи студентами, мы его видели всего несколько раз — в мой год он уже давно не преподавал. Факультет управлялся «сообществом равных» — еще четыре харизматичных лидера: Филиппов, Батыгин, Радаев и Крыштановский. Влияние первых трех было огромно и тотально, как ковровые бомбардировки. Александр Олегович читал элективный курс и поражал аудиторию точечно.

Уже окончив Школу, я выяснил, насколько там все было непросто в отношениях внутри «харизматической четверки». Однако на поверхности ничего этого видно не было. Конечно, преподаватели конкурировали за самых перспективных студентов, а студенты — за внимание «своих», наиболее значимых авторитетов. Ведь на факультете училось всего 20 человек, а элективные курсы читались для пяти-шести.

Я пошел в Шанинку из-за Филиппова, но в первые полгода попал под влияние всех трех основных преподавателей. Это был пик их научной и исследовательской карьеры. Только Батыгин был уже полностью состоявшимся ученым (и потому уделял неформальному общению со студентами больше времени), Радаев строил свою школу социологии рынков (в каждом шанинском выпуске есть по когорте его учеников), Филиппов заканчивал работу над одним большим теоретиче-

ским проектом, социологией пространства, и начинал следующий — теорию социальных событий. Они не учили — они показывали, как должен работать ученый.

Влияние Батыгина было очень сильным, но нет, он не был моим учителем. Хотя самые высокие оценки в Шанинке я получил за его курс. Увы, я так и не заговорил на его языке, хотя мы с однокурсниками регулярно сбегали на его семинары в ИС РАН. Что-то остановило — вероятно, неготовность принять его аксиоматику, которая строилась на метафоре «мир как текст». Мы несколько раз подолгу общались в библиотеке. Я заговаривал о концептуализации пространства в социологии, и он тут же переформулировал это в категориях «пространство как текст». То же последовательно произошло с темами идентичности, архитектуры и утопии. Сошлись мы в итоге на почве общей любви к Ирвингу Гофману. Наши диалоги напоминали классические хасидские притчи:

Я: Ребе, почему деревья растут корнями вниз и ветвями вверх?

Батыгин: Нельзя ответить на этот вопрос, не посадив дерева. Вот тебе лопата.

Я: Ребе, какой чудесный инструмент! Почему его следует держать древком вверх, а штыком вниз?

Батыгин: Нельзя ответить на этот вопрос, не разобравшись, как крепится древко к штыку. Вот тебе отвертка.

Я: Ребе! Отвертка — это удивительно! Почему отвертки делятся на крестообразные и плоские? При каких условиях мы можем помыслить, например, шестигранную отвертку?

На месте Батыгина я бы уже давно ответил: «Вот тебе стена — убей себя об нее». Но Геннадий Семенович был терпелив. Он не ответил ни на один из моих вопросов, предпочитая переформулировать их до неузнаваемости. И просто снимал с полок книги, которые я исправно читал.

Радаев был полной противоположностью Батыгина. У него всегда все было четко по расписанию. Он вставал в 5 утра, чтобы приехать в Шанинку до пробок, два часа читал приготовленную на день литературу, в 9.00 уже начинал семинар. Я никогда не встречал настолько дисциплинированного человека. Он и учил этому — писать, очень жестко структурируя свои тексты, постоянно работать над композицией. Радаев был единственным преподавателем, который мог взять у администратора факультета телефоны студентов и обзвонить их в 10 вечера, чтобы дать фидбэк по эссе: «Хороший текст, но слишком аморфный... Поставьте более четко проблему и, пожалуйста, не на третьей странице, а на первой... К чему вы во второй главе сделали это отступление? Лучше убрать — потом про это напишете другое эссе. Здесь очень сильно не хватает сюжета с Z... Вам надо прочитать вот это и вот это — если сочтете релевантным, развейте это вот в этой части... А в остальном — поздравляю, хорошая работа». Вы вешали трубку уже другим — обнадеженным и поверившим в свои силы человеком — а потом смотрели на заметки, и понимали, что текст нужно переписать от первого до последнего предложения.

Радаев ничего не делал понарошку, он всегда работал в полный контакт и требовал того же. Помню, что по условию его курса нужно было написать эссе и распечатать его перед экзаменом. Пока слушатели писали экзамен, Радаев читал их тексты. Один из самых толковых студентов, учившихся после нас (он потом уехал в Штаты и канул в американской системе образования), подошел к ВВР и сказал что-то вроде: «простите, я не успел распечатать / принтер сломался / будильник не прозвонил / я все исправлю»... Батыгин, который превратил профанацию формальных академических правил игры в своего рода спорт, тут же ответил бы: «эссе? а разве нужно было что-то распечатать? не берите в голову!». Радаев просто отвернулся и ушел.

Впрочем, я всегда знал, что писать диссертацию буду у Филиппова. Я поступил в Школу, чтобы заниматься теорией

и в течение года старательно начитывал всю необходимую литературу, ставил теоретический язык. К Филиппову я пришел с проектом магистерской диссертации: исследовать пространственную организацию классических утопий — от платоновской Атлантиды до «Города Солнца» Кампанеллы. «Это замечательный исследовательский проект! — сказал Александр Фридрихович, который как раз закончил книжку «Теоретические основания социологии пространства» — Дерзайте!». Через месяц я приполз с повинной. Проблема в том, что мой интерес к идеальным пространствам и утопическому воображению вышел из наших семинаров в Самаре. Но одно дело — разбирать канонические тексты и чертежи, а другое — создавать теоретический метаязык говорения о связи воображения и пространства. Полный провал. Никакого метаязыка не получилось. Я решил, что просто еще не готов справиться с этой проблемой. Филиппов сказал: «Ну конечно! А что Вы думали, можно вот так вот просто замахнуться на такую серьезную тему?».

В итоге я написал магистерскую диссертацию по социологии пространства — о связи воображения, памяти и места, о структуре утопических сообществ, о тех, кто приходит раньше, и тех, кто приходит позже, о Макондо Маркеса и Янки-Сити Уорнера. На этом тексте учеба для меня закончилась.

— **Виктор, меня вот что интересует, в какой мере в Шанинке студентов знакомили с работами советских социологов? Батыгин как редактор социологических журналов, инициатор подготовки книги по истории советской социологии и автор вводной главы по советской социологии, вышедшей под редакцией В. А. Ядова, прекрасно знал эту тему. Учили ли вас читать советские социологические тексты, в которых обязательным было признание первенства Маркса и Энгельса в разработке главных проблем социологии, цитирование партийных документов, говорили ли вам о том, что авторам книг и статей запрещали использовать многие иностранные термины, слова, признавать заслуги Питирима Сорокина или вспоминать полевые исследования Владимира Шляпентоха? Говорили ли вам о жесточайшей цензуре и самоцензуре?**

— Здесь важно не совершить ошибки ложной контекстуализации: шанинский факультет имел очень опосредованное отношение к советской социологии. Зная о том, что Теодор был другом Юрия Левады, что Шанинка начиналась с Интерцентра (отцами-основателями которого были Шанин и Заславская), что в Школе преподавал Ядов, а Гудков и Дубин регулярно участвовали в симпозиуме «Пути России», нужно помнить, что никто из перечисленных мэтров не имел прямого отношения к нашему факультету. Парадоксально, но факт. В Шанинке уживались две поколенчески очень разные социологии. Одна — народническая, крестьяноведческая, политически ангажированная, либеральная. Ее сосредоточием был симпозиум «Пути России» и исследовательские семинары Интерцентра. Вторая — академическая, сциентистская, теоретическая, индифферентная по отношению к проблемам России, погруженная в актуальные западные дискуссии или в почтенную философскую классику. Собственно, она и «держала» факультет. Батыгин, Филиппов, Радаев и Крыштановский представляли как раз вторую группу. Пропасть отделяла их от Левады, Гудкова, Заславской или Ядова.

Когда мы пишем летопись, нам хочется видеть преемственность. Но ее не было. То есть ее не просто «не было видно». Некоторые выпускники Шанинки давних лет, ушедшие после Школы в аспирантуру ИСРАНА, рисуют идиллическую картину: мол, в Школе преподавали все вместе — левадовцы и фомовцы, Заславская и Батыгин, Ядов и Филиппов... И диссиденты-шестидесятники возлежали перед аудиторией вме-

сте с методологами-позитивистами аки волки с ягнятами. Это трусость памяти: людям хочется верить, что между разными частями их жизни нет противоречий. Но если бы Ядов и Филиппов просто случайно оказались в одной шанинской аудитории — произошла бы взаимная аннигиляция. И это касается не только их двоих.

— **Давайте вернемся к реконструкции траектории Вашей жизни, с того момента, который Вы выше обозначили словами: «На этом тексте учеба для меня закончилась». Что было дальше?**

— А дальше был 2003 год. Год рождения просвещенного авторитаризма и поколенческой шизофрении...

Здесь я должен сделать небольшое отступление на 4 года назад. В 1999-м вступил в партию. Сейчас — когда слово «партия» в обиходном языке снова воспринимается как «the Партия» — эту фразу невозможно произнести без истерического смеха. Между 2010-ми и 1970-ми куда больше общего, чем мы бы хотели видеть. Но в 1999-м фраза «Я вступил в партию» предполагала вопрос: «В какую именно?». Моя партия называлась РДП «Яблоко».

Откровенно говоря, уже тогда «Яблоко» было партией потрепанной жизнью антисоветской интеллигенции. И я вступил в нее из чувства солидарности с этой самой интеллигенцией — прежде всего, со своим отцом, который входил в региональный совет. Часть моих друзей по еврейской тусовке поступили точно так же. Все мои самые близкие учителя в Пензе были бескомпромиссными «яблочниками». Раз в три месяца я приезжал в Москву на семинары Московской школы политического образования.

Темы яблочных школ: региональный политический анализ, медиа-исследования, партийные системы, формы представительства, конституционное право и т.п. Лекции там читали Шейнис, Алексеева, Ионин, Кантор, Дегтярев, Рыженков... ну и Явлинский, конечно. Организатором была Галина Михайловна Люхтерхандт-Михалева, которая в начале 2000-х создала в партии аналитическую службу, think tank по немецкому образцу. На «яблочных» семинарах я познакомился с Лешей Титковым (он у меня читал лекции, а спустя 10 лет поступил в Шанинку и мы поменялись местами) и Лилией Васильевной Шибановой (основательницей «Голоса»). Там же впервые услышал про Шанинку от Ларисы Тарадиной.

В общем, когда я переехал в Москву и встал вопрос заработка, я очень быстро оказался в когорте аналитиков у Михалевой, а через полгода — директором отдела информационного анализа и медиа-исследований. В соседнем кабинете сидел мой приятель Илья Яшин, руководитель партийной «молодежки», этажом ниже — Леша Навальный, а дальше по коридору — Е.Б. Мизулина. Сейчас уже не верится...

Первый год в Москве я разрывался между работой в аналитике и Шанинкой. Весной стало ясно: нужно выбирать. Вообще, выбор между политикой и наукой — это моральный выбор. Не в смысле выбор между «моральным» и «аморальным». (Наука по своей природе куда аморальнее политики.) А именно выбор, опирающийся на какие-то иные основания — не научные и не политические. Как ни странно, мне помог его сделать Александр Фридрихович Филиппов. Одной своей лекцией про Вебера и его «Науку как призвание и профессию». Пока я работал в аналитике, мне казалось, что такая работа — это единство политической и интеллектуальной позиций. Но единство оказалось на поверку ложным. Нельзя одновременно строить в стране демократию и решать научную проблему. Есть синагога, а есть бордель — и там и там надо бывать, но не надо путать одно с другим. Есть политика, и есть наука. Есть общественная активность, и есть наука. Есть искусство, и есть наука. Есть популярное медиа-пространство, и есть наука. Это базовая веберовская идея ценностного суверенитета науки. Для меня она стала своего рода отправной точкой той самой поколенческой шизофре-

нии: не пытаться зарабатывать деньги наукой, не пытаться выдавать за науку работу в прикладных исследовательских проектах. Поэтому к работе в аналитике я так и относился — зарабатываю на жизнь, оттачивая ремесло.

Моя политическая ангажированность полностью испарилась к началу 2003-го года. Но совсем уйти я не мог — в декабре были выборы. И я перешел на четверть ставки, чтобы сосредоточиться на учебе в Шанинке. А осенью, когда я уже сдал диссертацию Филиппову и вернулся на свое рабочее место, в офис нашей партнерской аналитической структуры (Агентство стратегических коммуникаций) вошли люди в пронзительно голубой униформе и предъявили ордер. Они выломали сервер (буквально выломали, при помощи лома и такой-то матери), на котором лежали все мои аналитические записки. Полным ходом шло «дело Ходорковского», над которым со стороны партии работал мой отдел — мы отслеживали информационные вбросы, смотрели, как через проплаченные публикации нагнетается антиолигархическая истерия. Нам посоветовали до декабря на работе не появляться. Что было дальше Вы знаете — РДП «Яблоко», оставшись без всей своей информационной базы и поддержки, как крейсер «Варяг» ушла на дно. Я честно отстоял последнюю вахту в ночь выборов. Так кончилась моя политическая карьера.

Это был декабрь 2003-го. Нужно было как-то платить за квартиру (из общежития выселили еще летом) и зарабатывать на жизнь, желательно не отнимая времени от научных занятий. Помог случай.

Случай звали Дмитрий Михайлович Рогозин. Он втянул нас с Куракиным в один из своих авантюрных проектов с А.Б. Долгиным (удивительный персонаж эпохи 90-х), а потом познакомил с Давидом Львовичем Константиновским. И по-настоящему...

Давид Львович сначала предложил нам с Димой быстро написать отчет на уже имеющихся данных. (По иронии судьбы наш первый проект с Константиновским был последним проектом Фонда Сороса в России.) А через 48 часов после сдачи отчета позвонил и предложил провести большой опрос во всех республиках бывшего СССР в рамках какого-то другого проекта. Так начались семь лет совместной работы с Давидом Львовичем. За эти семь лет мы сменили пять институций, провели больше 30 исследовательских проектов, написали в соавторстве четыре книжки по социологии образования, объездили втроем два десятка регионов... Но это та часть моей жизни, которая пришла на смену аналитике — зарабатываем деньги, оттачиваем ремесло. Наукой оставалась работа с теорией.

Помню, как мы с однокурсниками сидели на кухне у Тани Глезер, обмывали получение своих шанинских дипломов. Наступал 2004 год. И тогда состоялся очень важный для меня разговор с Митей Куракиным. Мы поняли, что не сможем работать так, как Рогозин — вести большие прикладные проекты и выкраивать из них что-то для своих научных занятий (например, проводить методические эксперименты за счет заказчика). Потому что наши научные занятия — это теория. И тогда было решено поделить мозг на две части: одна должна постоянно работать над решением фундаментальных теоретических задач для диссертации и будущей книжки, вторая — совершенствовать навыки, получать опыт, зарабатывать деньги. Залог успеха: чтобы два этих полушария работали автономно и не в ущерб друг другу. Сотрудничество с Давидом Львовичем в качестве исследователей-фрилансеров давало такую возможность. («Главное, не садиться на ставку в маркетинге, это — смерть!») И где-то семь лет нам удавалось следовать этим курсом.

Вторая часть плана предполагала внедрение в аспирантуру к Филиппову. Мы с Димой немного перестарались и поступили в три аспирантуры (ИС РАН, ГУГН и Вышку). По совету Александра Фридриховича выбрали Вышку — он тогда пре-

подавал на кафедре «Общей социологии» у Н. Покровского.

— **Партийно-строительный аспект (фрагмент) истории Вашего поколения в моей «летописи в лицах» отечественной социологии ранее не был представлен. Спасибо. Я давно провел интервью с Н.И. Лапиным и Д.Л. Константиновским, беседую сейчас с Дмитрием Рогозиным, предполагаю — с Александром Филипповым... поколенческое движение дает объемность... самое время обратиться к теме, которой мы коснулись в нашей переписке: «Была ли советская/российская социология?». Есть ли в темной комнате черная кошка или ее вообще нет?**

— Помните старый советский анекдот про могилу неизвестного солдата Мойши Рабиновича? Про то, что его звали Мойша Рабинович, мы знаем, но неизвестно был ли он солдатом. Так же и с советской / постсоветской социологией. Мы точно знаем, что она была — мы не знаем, была ли она социологией. Еще точнее — была ли она наукой.

Собственно, этот вопрос имеет непосредственное отношение к недавнему «спору о социологизме». Если социологи науки правы и наука — это не что иное, как социальный институт, то да, была. Потому что тогда социологией следует считать все, чем занимаются кандидаты и доктора социологических наук в социологических институтах, в редакциях журналов, на социологических факультетах и кафедрах. Этот тезис (несколько нерелевантно, но весьма полемически) был высказан в нашей дискуссии о состоянии постсоветской социологии Н. Романовским и Ж. Тощенко.

Коллеги-социологи полагают, что у нас нет никаких оснований для проведения границы между наукой и не-наукой «изнутри» самого знания. Напротив, «эпистемологи» свято верят, что проблема демаркации (отнесения чего-то к «науке» или «не-науке») должна решаться безотносительно к социальным обстоятельствам рецепции, валоризации и т.д., исключительно исходя из содержания высказывания. И вот тут-то начинается все самое интересное...

Философия науки оставила нам в наследство всего несколько критериев демаркации:

1. Наука — это язык описания мира. Есть корпус социологических языков. Благодаря им теоретики рационального выбора из Китая лучше понимают теоретиков рационального выбора из Штатов, чем своих соседей — структурных функционалистов (хотя сидят с ними на одной кафедре). Высказывание является научным, если сделано на языке данной науки, в рамках конвенций той или иной теории.

2. Эмпирическая наука — это совокупность высказываний об объекте. Эмпирическое высказывание является научным, если а) сформулировано на языке конвенциональной теории, б) может быть опровергнуто в рамках конвенций той же теории.

3. Наконец, наука — это ценностнорациональное действие познания мира. Познание ради познания. Ученый не имеет права сказать «Я познаю этот мир, чтобы сделать его лучше / построить демократию / заработать денег / помочь ближним / давать советы власти». Он имеет право только на неангажированное, ничем иным не мотивированное познание. Если им движут другие цели — он просто не ученый (а политик, меценат, бизнесмен, активист и пр.).

По этим трем критериям большинство известных мне текстов за авторством советских социологов не являются научными. Они или изначально политически ангажированы, или просто сугубо эмпиричны: то есть, теоретического языка там либо нет совсем, либо его заменяет идеология. Зачастую, хорошая, правильная, «наша», либеральная идеология. Но от этого не менее кондовая.

Недавнее исследование замечательного петербургского антрополога Дарьи Димке показало любопытный факт: подавляющее большинство статей в журнале «Социс», опубли-

кованных до конца 80-х годов в жанровом отношении являются манифестами, а не научными статьями.

Однако интересующий меня парадокс состоит в другом — в том, что в истории советской социологии мы найдем куда больше науки (в обозначенном выше смысле), чем у тех же авторов за двадцать с лишним лет, прошедших после распада СССР. Те же самые люди, которые в советские годы искренне старались усовершенствовать теорию социальной установки (В. Ядов), добиться достоверности эмпирического знания (Ю. Левада), ратовали за освобождение науки от идеологии (Т. Заславская), в 1990-е стали куда более идеологичны, непримиримы по отношению к «неангажированному теоретизированию» и «методологизму».

— Конечно, вопрос о том, что есть наука, — вечный, и не здесь нам рассматривать детально. Возможно, Вы удивитесь, но одним из таких вечных вопросов в математике (аксиоматической науке) является: «Что значит доказать?» Но вернемся к Вашей жизненной траектории. Прошел первый год в Шанинке, и Вы встретились с А.Ф. Филипповым. Что последовало?

— Последовала жизнь на два фронта. В аспирантуре с подачи Филиппова я сразу же начал ходить на семинары Института гуманитарных историко-теоретических исследований, где подпал под обаяние Андрея Владимировича Полетаева и Ирины Максимовны Савельевой. Это было самое живое место в Высшей Школе Экономики — там собиралась «гуманитарная молодежь» (Наталья Савельева, Боря Степанов), там действительно завязывался какой-то междисциплинарный диалог. По сравнению с ИГИТИ соцфак Вышки — как минимум, его теоретическая часть — выглядел уныло. ИГИТИ же был больше клубом, чем институцией. Сегодня в Шанинке мы стараемся сохранить именно такой, клубный формат. Когда пишешь текст и знаешь, что комментировать его будут Филиппов и Полетаев... Мне дико не хватает этого сейчас...

Филиппов больше работал с формой, стилем, логикой и композицией статей, Полетаев заваливал литературой, ликвидируя пробелы в моем стохастическом образовании. Комментарии Филиппова на полях моих первых публикаций я буду помнить всю жизнь: «Латур стремится устранить дихотомию субъекта и объекта...», комментарий АФ: «На хрена тебе это, дяденька Латур? — спрашивают пионеры». Или: «Раскол между структуралистским и интеракционистским аргументом намечается в самом языке гофмановской теории», комментарий АФ: «Так и вижу, стоит Гофман и размахивает своим расколотым языком».

Свободное время мы с Куракиным проводили на даче у Александра Фридриховича и Светланы Петровны. Но свободного времени было немного — работа в проектах по исследованию образования с Константиновским шла полным ходом. С Давидом Львовичем мы за несколько лет объездили около десятка регионов, вели опросы, интервью, фокус-группы (на моей первой фокус-группе в Чувашии подрались учителя), овладевали «низким жанром» отчета по проекту. Это была «вторая жизнь», полная скорее экзистенциального, чем интеллектуального напряжения. Константиновский — гениальный руководитель исследовательской команды. Этика исследования — это не этика научного поиска (всегда аутично и индивидуалистского по своей природе). Мы с Куракиным научились писать в соавторстве так, что спустя год не могли отличить — кто какую часть текста написал.

В общем, 2003-2007 — это четыре года исследовательского угара и академического драйва. За это время я опубликовал около двадцати статей, переводов и рецензий, подготовил сборник «Социология вещей», написал в соавторстве две книжки по итогам наших исследований образования, закончил диссертацию по теории фреймов. Но все это было вторично по отношению к самому сильному чувству этого периода — чувству принадлежности к интеллектуальной и иссле-

довательской среде. Ощущению того, что каждый твой текст — на самом деле просто диалог коллег в твоей голове.

А потом не стало Полетаева.

— Виктор, а что если мы снова уклонимся от собственно временной развертки Вашей жизненной траектории? У нас был длительный перерыв в связи с тем, что с шанинскими выпускниками Вы провели две недели в Тбилиси, обсуждая тексты по социологии смерти. Помню покойного Игоря Семеновича Кона, еще живя в Ленинграде, он говорил мне: «Не хочу заниматься образом жизни. Хочу — образом смерти». Мне интересно не только то, какие тексты по социологии смерти вы анализировали, но и в какой мере 20-ти летние студенты понимали то, что они обсуждали... ведь смерть — это трагедия, чтобы глубоко обсуждать социологию смерти, надо в какой-то мере «прикоснуться» к смерти... не так ли?

— Хм... Это очень хороший вопрос. Но сначала давайте избавимся от одного очень распространенного в разговоре о смерти «идола» — Идола Возраста. В повседневном языке мы часто связываем смерть и старость. Иногда почти до синонимии: старость как «жизнь на пороге смерти». Но ведь любая жизнь — это жизнь на пороге смерти. Ни у одного возраста нет монополии на смерть. Ни близость смерти, ни ее большая вероятность, ни объективная предрасположенность (болезнь) не являются достаточными условиями такой монополии. У подростка свои отношения со смертью, у человека средних лет — свои, у больного человека — свои. И ни одни из этих отношений не являются привилегированными. Возраст — не залог достоверности или какой-то сверхрациональной «правды» в суждении о смерти.

Поэтому да, двадцатилетние люди могут «прочувствовать» эту тему ничуть не меньше, чем люди семидесятилетние. Они во многом избавлены от обывательских и литературных клише («смерть как трагедия», «мистерия смерти», «смерть как примирение» и пр.). Опыт прикосновения к смерти есть у каждого. Равно как и экзистенциальный опыт скорби. Другое дело — как перевести это экзистенциальное переживание в социологическую концептуализацию? Как перевести «смерть» на язык социологии?

Увы, все, что называется сегодня «социологией смерти» — это следствие псевдонаучного малодушия. Страх смерти (и одновременно влечение к ней) заставляет социологов писать о фреймировании смерти, о ее социальном бытовании или вовсе — о социальном конструировании. Каковы образы смерти в культуре X? Как люди говорят о смерти в повседневном общении? Какова социальная машинерия, позволяющая человеку примириться сегодня с собственной смертностью? Таковы вопросы на повестке дня «социологов смерти». И они не имеют к смерти как экзистенциальному событию, в сущности, никакого отношения. Как социологи мы говорим не о ней, а о ее легитимных субститутах — «разговоре», «бытовании», «образе». Социолога-теоретика же должен занимать единственный вопрос: какова социологическая концептуализация смерти? Что можно сказать о смерти, не покидая языка социальной теории, и в то же время — не подменяя ее наблюдаемыми эмпирическими коррелятами (потому что смерть не тождественна разговору о ней с интервьюером).

Мы с коллегами, выпускниками Шанинки разных лет, попытались найти эту точку — в которой смерть уже является социологически описуемым феноменом, но еще не теряет своего экзистенциального измерения, не подменяется привычными социологическими субститутами. Собрали корпус релевантных текстов и две недели назад поехали в Тбилиси, читать. Каждый день брали один текст и работали с ним в логике шанинского аналитического чтения (в лучших традициях Бейт-Мидраша). Столкновение трактовок, переописание, выход на новый уровень проблематизации, работа с кейсами

(смерть младенца, самоубийство, смертельная болезнь, знание даты своей смерти, дожитие, написание завещания, массовая гибель и т.д.). Парадокс заставляет глубже погружаться в текст, эксплицировать более тонкие различия, смотреть — как мы можем увидеть мир через призму этого языка. И каждый раз заново возвращаться к вопросу: обладает ли смерть своим собственным смысловым содержанием? А на следующий день — следующий текст.

Я назову только несколько текстов, с которыми мы успели поработать. Квентин Мейясу, современный философ, один из создателей спекулятивного реализма, «Дилемма призрака» — интересный сюжет об условиях возможности «действенной скорби» («призраками» Мейясу называет как раз тех, кто умер «неформообразующей» смертью, по Зиммелю). Текст Филиппова по теории событий — попытка осмыслить смерть как «абсолютное событие первого рода». Текст Мишеля де Серто «Неназываемое: умирать» — о напряжении между смертью и языком повседневности. Глава книги другого современного философа Тимоти Мортон «Магическая смерть» — о теореме Геделя, проблеме телесной хрупкости и метафоре смерти как перевода. К сожалению, мы не успели как следует разобраться с темой смерти в музыкальной теории и социологии музыки (де Нора) и концептуализацией самоубийства в теории рационального выбора (Фельдман).

В день мы тратим примерно два-три часа на такую работу. Остальное время — ездим по стране и общаемся. В конце концов, это не совсем школа — мы просто выбираем страну, скидываемся, снимаем дом, запасаемся текстами и отправляемся читать. Первую такую инициативную школу мы провели в 2010-м в Израиле по языковому утопизму, потом в 2011-м в Черногории по теории рефлексии, в 2013-м мы сделали две школы — по социологии архитектуры (в Киеве-Одессе) и по метафоре монтажа (в Аликанте-Мадриде). Сейчас уже начинаем думать про следующую.

— Наверное, самое время спросить о Вашей кандидатской работе... как происходил выбор темы? Что составляло главную исследовательскую проблему? И т.д.

— Диссертацию я писал по фрейм-анализу Ирвинга Гофмана. Точнее о том, как нам реорганизовать все здание социологии повседневности (она же микросоциология) на основных разума и прогресса — т.е., теории фреймов.

Если серьезно, в психологии есть проблема, поставленная Уильямом Джеймсом — проблема верховной реальности. У нее весьма любопытная предыстория. 20-го января 1843-го года Эдвард Драммонд, личный секретарь премьер-министра Роберта Пилля, был застрелен Даниэлем Макнотеном, владельцем небольшого деревообрабатывающего предприятия в Глазго. Макнотен был одержим манией преследования: ему казалось, что правящая партия консерваторов регулярно подсылает к нему шпионов. Он решил нанести упреждающий удар, выстрелить первым, и жертвой должен был стать не Драммонд, а сам премьер-министр Пилль. Макнотен предстал перед судом, где сообщил о преследованиях со стороны партии тори. Медицинское заключение диагностировало несомненное психическое расстройство параноидного типа. В итоге Макнотен был признан невиновным на основании помешательства. Его препроводили в психиатрическую лечебницу, где он и скончался двадцать два года спустя. Однако, взбудораженная происшествием, палата лордов потребовала от специально созданной комиссии судей ответить на «гипотетический вопрос». А именно: «Если человек под влиянием болезненно-бредового восприятия фактов действительности совершает преступление с тяжелыми последствиями, то освобождает ли его это от юридической ответственности?». Судьи ответили на него следующим образом: «если под влиянием заблуждения человек полагает, будто на его жизнь покушается другой человек, и убивает такого человека, как он убежден, в целях самозащиты, — убийца может

быть освобожден от наказания. Если же его заблуждение состояло в том, что покойный якобы причинил серьезный вред его репутации и благосостоянию и он убил этого человека в отместку за такой предполагаемый вред, убийца подлежит наказанию». Иными словами, Макнотена оправдали не потому, что он в момент совершения преступления находился в иллюзорном мире, созданном его болезненным воображением. И не потому что, как утверждал его адвокат, он не мог контролировать свои действия. Его оправдали, потому что в его воображаемом мире на него велась безжалостная политическая охота, и он действовал в нем из соображений самозащиты, покушаясь на главный источник опасности. Если бы Макнотен — находясь в таком же точно состоянии — выстрелил в Драммонда, чтобы «передать послание Пиллю», его бы, скорее всего, осудили на казнь. Поскольку тогда это уже не было бы самозащитой даже в мире безумия. Английские судьи тем самым признали, что мир безумия является миром *sui generis*, «структурно подобным» миру здравого смысла, и его обстоятельство имеют решающее значение для вынесения вердикта.

Но что значит «структурно подобным»? И что имеет решающее значение: структурное подобие миров или их суверенность, независимость друг от друга?

Спустя столетия после выстрела на Даунинг-стрит в Гарварде была издана книга Уильяма Джеймса «Принципы психологии». В главе «Восприятие реальности» Джеймс впервые обосновал тезис о множественности относительно автономных (но подобных друг другу) миров, предложив попутно их первичную классификацию: мир повседневных физических вещей, мир науки, мир абстрактных истин, сверхъестественные миры, мир иллюзий и предрассудков, мир безумия. Главное их свойство — непротиворечивость. Все эти миры — здравого смысла, науки, литературы или безумия — блокируют сомнение в их собственной реальности до тех пор, пока вы находитесь «внутри». Вы не сомневаетесь в реальности стула, на котором сидите. Дон Кихот не сомневается в реальности великанов. Физик не сомневается в реальности атомов. Это не значит, что в атомах, великанах и стульях нельзя усомниться — это лишь значит, что в них нельзя усомниться, пока вы находитесь в их мире (здравого смысла, безумия или физики).

Джеймс доказывает, что мир обыденных физических вещей, ощущений и здравого смысла — это верховный мир, доминирующий над остальными. В социологию всю эту проблематику множественных миров перенесет Альфред Шюц, и так возникнет социология повседневности. И у Джеймса, и у Шюца все миры замкнуты и упорядочены (повседневность занимает среди них привилегированное положение). Но Ирвинг Гофман сумел иначе решить «джеймсовскую проблему». Для этого он а) размывает миры — показывает, как содержание одного мира (к примеру, повседневности) может становиться содержанием другого (игры или представления), б) отказывается от иерархии. Повседневность лишается привилегий. Теперь мы изучаем как фреймируются конкретные взаимодействия людей лицом-к-лицу и как получают прописку в том или ином мире. Как взаимодействия переключаются, транспонируются из одного мира (системы фреймов) в другой.

Главное же, что отличает программу Гофмана — это ее удивительная чувствительность одновременно и к фундаментальным философским вопросам (существует ли верховная реальность повседневной жизни?) и к очень конкретным взаимодействиям людей здесь-и-сейчас (что происходит с событием драки, когда оно становится игрой в драку? инсценировкой игры в драку? репетицией инсценировки игры в драку?). То есть, это очень эмпирически заточенная, ориентированная на наблюдателя теоретическая программа. Я как раз хотел связать эти уровни — показать, что между философи-

ей и социологическим исследованием нет зазора. Потому что социологическое исследование — это и есть «полевая философия».

...Когда я пришел с этим замыслом к Филиппову, он сказал: «Поле, на которое Вы ступаете, кажется Вам запаханым. А на самом деле оно минное». Но через два года работы над текстом «минное поле» неожиданно перестало быть метафорой. Потому что меня позвали поработать «на минные поля».

После падения партии «Яблоко» некоторые ее члены организовали Ассоциацию «Голос». Мы остались в хороших отношениях, время от времени я консультировал какие-то «голосовские» проекты, а позднее вошел в их попечительский совет (что мне совсем недавно припомнили люди в погонах). В 2005 году друзья из «Голоса» предложили мне поработать в миссиях электорального наблюдения ОБСЕ на Балканах. Я поехал в Албанию, на границу с Косово (тогда еще непризнанной республикой). За следующие несколько лет с похожими миссиями объездил Боснию, Хорватию и Восточную Украину.

Балканы, конечно, имеют свою специфику. Там вы работаете бок о бок с бывшими полевыми командирами, которые рисуют для вас карты оставшихся минных полей, иногда натываются на заброшенные склады с оружием, интервьюируете беженцев... Интересная и нервная работа. Но меня поразило другое. Все мои представления о том, как должны фреймироваться взаимодействия лицом-к-лицу рухнули. Выборы на Балканах могут фреймироваться как ритуальное сакральное действие, как карнавал и сабантуй, как спортивное состязание, как театральное представление... И каждый раз наблюдатели вынуждены отвечать на вопрос — это все еще голосование? Или это уже игра в голосование? Голосование в кавычках? В общем, совершенно фрейд-аналитический вопрос. Там я написал свою первую англоязычную статью о рефрейминге и транспонировании электоральных событий. Включить этот текст в диссертацию я, впрочем, не рискнул. И так представитель ведущей организации поначалу отказался писать отзыв, «потому что текст пахнет шпионажем». (Потребовалось неожиданное вмешательство харизматичного Александра Фридриховича Филиппова, чтобы его убедить.) Все-таки шел 2007 год. Антишпионская истерия была еще впереди, но в академических институтах люди обладают чутьем особого рода.

Защитился я в Высшей школе экономики удачно, без черных шаров. Но, если честно, защиты своей не помню. Все было как в тумане. И на следующий день снова вылетел в «поле».

— С тех пор, однако, говоря высоким штилем, минуло почти десять лет. Скорее всего, для Вас это не был один долгий, тягучий, монотонный интервал времени? Пожалуйста, обозначьте на нем некие веховые, «особые» точки.

— Сложно сказать. Нет, конечно, не монотонный интервал. Но и не совокупность взаимосвязанных событий. Просто из-за этой поколенческой шизофрении несколько жизней протекали параллельно в разных измерениях и по какому-то случайному стечению обстоятельств их связывали с одним человеком. Что-то вроде бегового круга на стадионе, где рядом бегут прикладной исследователь, ученый-теоретик и журналист и у каждого своя полоса препятствий, свой темп прохождения, свои риски выхода из игры. Причем, они не соревнуются друг с другом. Другая метафора: микшерский пульта звукооператора. Вы добавляете «исследовательских проектов», убираете «теоретических текстов», отключаете «журналистику» — либо звучит, либо не звучит.

Что считать «вехой» или «рубежным событием» в такой модели? Например, уход одних персонажей и появление других. Переезд в Москву прервал мои связи с еврейскими организациями. Восстанавливал я их спустя много лет уже в другой роли — как прикладной исследователь, оценивающий на деньги американских и израильских заказчиков работу тех

организаций, в создании которых когда-то принимал участие. В какой-то момент к двум основным идентичностям — ремесленной и теоретической — добавились второстепенные трэки «медийного персонажа» и «политика-администратора». Они продолжают жить своей жизнью до сих пор. И тогда основные вехи — это возвращение в Шанинку деканом родного факультета (2008), уход из нее в большую (около) академическую политику (2011), отъезд из страны (2013).

Другой способ концептуализации «рубежных событий» — смотреть, что повлияло на все параллельно проживаемые жизни. Тогда их еще меньше. Например, «дело Куракина» (2010) или, опять же, отъезд (2103).

Но все это очень поверхностные, внешние «рубежи». Выход книги обладает статусом абсолютного события для ученого, но мало влияет на остальные жизни. Запуск «Евробарометра в России» обладал огромным значением для меня как прикладного исследователя и ровным счетом ничего не значил для меня как для ученого. Запуск своего факультета, открытие нового исследовательского центра, создание большого института, издание своего научного журнала — все это важные события для меня как политика-администратора. Они ничего не значат для других идентичностей (и меньше всего — для научной). Это не мешает мне гордиться всеми этими структурами и работать на их развитие. Может быть, как раз самые главные вехи — те, которые «внутри» отдельных идентичностных треков.

Интересно, что защита кандидатской не была рубежом событием ни в каком смысле. Потому что кандидатская — это ритуально-политический акт жертвоприношения, не имеющий рационального содержания. К моменту защиты меня уже более или менее знали по публикациям, «Социологию вещей» читающая публика встретила неожиданно хорошо, я валидировал свой курс в Манчестере, несколько лет как преподавал в Шанинке и Вышке, ездил с публичными лекциями в разные места. Одна из первых таких лекций была в Питере в Европейском университете 23 марта 2007 г. — ровно через неделю после защиты. От той поездки у меня до сих пор осталось много добрых друзей в Питере — Миша Соколов, Даша Димке, Кирилл Титаев. По гамбургскому счету, это куда больше «веха», чем кандидатская.

После защиты я ровно полгода был абсолютно счастлив. Проекты начали, наконец, приносить дивиденды в виде репутации и денег. Филиппов взял меня в свой Центр фундаментальной социологии на какую-то символическую ставку старшего научного сотрудника, которая позволяла чувствовать себя частью «теоретического клуба». Публиковался довольно много — «поля» и отчеты оставляли массу времени, чтобы держать себя в тонусе. Ездил на разные школы и стажировки в западные университеты, начал работать над книжкой по итогам диссертации... Все шло, как было запланировано: оттачиваем ремесло в проектах, параллельно решаем свои теоретические задачи. Два трэка — научный и ремесленный — давали каждый свою отдачу и практически не пересекались...

И в этот момент раздался звонок. А вернее два звонка. Сначала позвонил Теодор Шанин. Он, кажется, за год до этого ушел с поста ректора Школы, став ее почетным президентом. Сказал: «Мне с тобой нужно поговорить. Только не говори Каспржаку, что я звонил. Как приедешь — набери меня». Анатолий Георгиевич Каспржак занял пост ректора Школы после Теодора. Он в этот момент как раз пытался разобраться с происходящим в Школе и искал возможность удержать этот корабль на плаву — после ухода большинства западных спонсоров и резкого ухудшения политического климата. Он позвонил мне примерно через 45 секунд после Теодора: «Вы не в Москве? Нам бы нужно было увидеться. Только не говорите Шанину, что я Вам звонил».

Думаю, два этих коротких звонка до сих пор входят в сотню самых важных в моей жизни.

— Что принес разговор с Шаниным? Имела ли смысл встреча с Каспржаком?

— Это были два очень разных разговора. Сейчас история Шанинки придирчиво переписывается ее выпускниками. И, я боюсь, Каспржак войдет в анналы школы, как человек крайне недипломатичный, прямолинейный, принимающий резкие и непопулярные решения. Напротив, Теодор — сакральная фигура, трансцендентное существо, отец-основатель и человек-скала. Но я был «внутри» последние двенадцать лет. При всем моем восхищении Теодором (мы сделали серию биографических интервью с ним — «Миры Теодора Шанина» — первое опубликовано всего месяц назад), все же нужно понимать, что Каспржак — комиссар, он первый бросится на вражеский бастион, увлекая Вас за собой. И первым получит пулю, закрывая Вас от нее. (Что в каком-то смысле и произошло.) А Шанин — человек, который читает Вам возвышенную проповедь перед отправкой на фронт: благословляет, вдохновляет, отпускает грехи, заглядывает в душу и требует подвига, не уточняя какого именно.

Я пришел к нему домой, мы проговорили четыре часа, обсуждая в основном перипетии мирового исторического процесса и место Шанинки в нем. Он периодически переходил на иврит, тестируя мои остаточные знания, расспрашивал про мою биографию, интересовался моим кругом чтения. Время от времени рассказывал байку из своей фантастически богатой биографии. Я вышел окрыленным. Было ощущение прикосновения к чему-то по-настоящему великому. Отношения сложились практически сразу — какие-то очень личные и совершенно не профессиональные отношения — Теодор всегда подчеркивал, что ему важнее, чтобы я продолжал писать и публиковаться, чем моя работа на благо Школы. С тех пор несколько лет подряд мы встречались пару раз в месяц и говорили об израильской политике, неокантианстве, деле «Альталены», проблемах языковой адаптации мигрантов, крахе университетской автономии, ранних националистических движениях в Польше, студенческой революции 1968-го и многом другом. Почти никогда — о работе. При этом в первый вечер он ничего конкретного мне не предложил. Конкретика — прерогатива ректора.

А ректором как раз был Каспржак, который сидел в кабинете, зарывшись в финансовую, кадровую и административную отчетность, и курил одну сигарету за другой. В отличие от Теодора, который знал меня как ученика Филиппова и социолога-теоретика, Анатолий Георгиевич наблюдал совсем другую сторону моей жизни. Он был рецензентом нескольких наших проектов по исследованиям образования и примерно представлял, чем я занимаюсь в свободное от чтения и письма время. Вернее, чтение и письмо казались ему моим хобби, а проекты — работой. Поэтому и с Каспржаком отношения сложились сразу же, но у другого моего «Я» — того, которое за пять лет в Москве научилось зарабатывать на исследованиях.

— Виктор, благодаря чему Ваш факультет вскоре стал одним из лучших в стране? Вы смогли пригласить новых преподавателей? Вы ввели какие-либо новые курсы?

— Как пошутил один раз Теодор: в Англии люди приходят и уходят, а институции остаются; в России наоборот. Шанинка — английский университет, она пережила своих основателей (кроме самого Теодора). Ее не нужно было делать лучше — ей нужно было дать сохраниться: финансово, административно, политически. Ничем другим мы и не занимались.

Первым делом я кинулся к выпускникам, тем, кто уже успел что-то сделать в науке после выпуска. Я до сих пор ценю куда выше тех, кто откликнулся тогда, в самый критический момент, а не выждал несколько лет, чтобы убедиться — да, все ок, ресурсы нашлись и Школа жива. Но репутация работала на факультет. Туда по-прежнему уходили лучшие выпускники

Вышки. Начинать преподавать совсем молодые дарования (Павел Степанцов подхватил у Теодора курс по социологии знания уже на следующий год после выпуска). Это был самый молодой социологический факультет в стране. Читали открытые гостевые лекции преподаватели из Кембриджа, Манчестера и Йеля. Приезжали профессора из Германии, Израиля, Франции, Италии. Каспржак не обманул и привел несколько крупных исследовательских проектов НФПК, Министерства, Всемирного банка. Преподаватели даже не знали, что зарплату им платят не из бюджета факультета (там были только долги), а из денег, которые мы зарабатывали на исследованиях. Из них же Школа платила свой ежегодный взнос в Манчестер за валидацию программ — 200 тыс. фунтов.

Благодаря «ребрендингу» о Шанинке стали больше говорить в СМИ. Началась быстрая медиатизация. Это позволило привлекать больше ресурсов, хотя под угрозой оказалась традиционная камерность и герметичность факультета.

Для меня же эти три года были каким-то ночным кошмаром. Вместо трудов по социальной теории, я изучал трудовое и налоговое законодательство. В библиотеке появился всего несколько раз (и то, потому что мы переносили туда совещания из-за нехватки аудиторий). У одного моего манчестерского коллеги в кабинете висит плакат; памятка профессору, ставшему администратором: «First year — stop writing, second year — stop reading, third year — stop thinking». И это очень точное описание постакадемической деградации.

Но тяжелее всего, конечно, резкая ломка всей сложившейся системы отношений. Пока вы хороший студент — на вас сыплются предложения, поощрения и проекты. Когда вы становитесь подающим надежды молодым ученым — вас зовут с лекциями и выступлениями. Когда вы становитесь самостоятельным политическим «игроком» и оператором каких-то скудных академических ресурсов, вы не сразу можете перестроиться — потому что те же самые люди, которые вас когда-то приглашали, включали в проекты, абсолютно иррационально из добрых побуждений инвестировали в вашу карьеру и репутацию, вдруг, готовы идти на серьезные издержки, чтобы эту репутацию подорвать, если ваши действия как-то затрагивают их интересы. Причем, подорвать даже без выраженной пользы для себя, повинувшись тому же иррациональному инстинкту академического мира. Я вдруг увидел совсем другую сторону научной жизни. И понял, что оказался перед выбором. Либо сохранять теплые отношения со значимыми людьми, либо делать то, что считаешь нужным.

Впрочем, продлился мой кошмар недолго — всего три года. На третий год Каспржак понял, что стратегия, которую он реализовывал (полная автономия Шанинки от всех «крупных игроков», превращение в небольшой «образовательный бутик», вроде дорогих школ МВА) нереализуема в нынешних условиях. И ушел с поста ректора. А я понял, что мне пора. И тоже ушел. Правда, недалеко. Уже через неделю после моего увольнения мне позвонил Владимир Александрович Мау, ректор РАНХиГС (так стала называться Академия народного хозяйства, после того как проглотила Академию госслужбы). Спустя полгода в РАНХиГС появился новый философско-социологический факультет, Центр социологических исследований и проект «Евробарометр в России».

— Хотел спросить Вас об одном из Ваших любимых проектов — журнале. Пожалуйста, расскажите о нем.

— Во мои планы вовсе не входило делать журнал. И журнал «Социология власти» далеко не сразу стал моим любимым проектом (и уж точно никогда не был моим детищем в полном смысле слова). Проблема в том, что моя репутация «административно-политического оператора» (в переводе на язык академического сообщества — «законченной сволочи») уже сформировалась. И из всех предложений, которые на меня посыпались, самым заманчивым было предложение Владимира Александровича Мау — сделать «Шанинку в бака-

лавриате», с британской моделью образования, свободным выбором курсов, «западным контентом», сильной теоретической ориентацией и т.д. Факультет не нужно было делать самокупаемым — мы договорились, что он будет убыточным первые пять лет. И у меня был полный карт-бланш на формирование преподавательского состава. Я подписался, даже не очень понимая, на что я подписываюсь.

Как только наш Центр и Факультет вышли в какой-то нормальный режим существования, мне позвонил Владимир Александрович и попросил «заняться журналом». Я не просто не горел желанием это делать — я не знал, как. Мы, конечно, хотели бы и изменить название, и сделать новую концепцию журнала, но... Одно дело хотеть, другое — смочь это сделать. Пока я нашел нужных людей и собрал портфель приличных статей, мы почти год ничего не выпускали.

А полтора года назад, когда со мной случился очередной кризис на тему «какой херней я опять занимаюсь?» нужно было расставлять приоритеты. Я уезжал из страны, пытаясь отбросить все лишнее и оставить за собой что-то, что мне по-настоящему интересно и хоть как-то связано с моими теоретическими интересами. Приоритеты оказались таковы: 1. Шанинка. 2. Журнал. 3. ФСФ. 4. Центр в Академии. 5. Институт городских исследований при мэрии, который мы сделали в 2012 г. (но это отдельная история). Журнал неожиданно вышел на второе место. И действительно, за эти три года мы выпустили больше десятка номеров по актуальным исследовательским темам — социология технологий, институциональная теория, феноменологическая философия, теория коммуникации, теория практик, исследования сообществ, урбанистика, микросоциология политики, исследования возрастной стратификации и т.п. Сейчас собираем номер по утопическому воображению, на очереди — социология академического мира, исследования правоприменения, социология вещей, теория фреймов. К счастью, все быстро забыли про слово «власть» в названии, сейчас оно носит чисто декоративный характер. Так что я даже рад, что в свое время Мау навязал мне этот проект.

— Отдельная история — Институт городских исследований при мэрии может быть очень интересной. Пожалуйста, Виктор, поподробнее...

— Это, в общем, не одна, а несколько историй.

Первая — история десятилетия «прогрессорства». 2000-е годы в России — период безудержного карго-культу и нефтяного государственного модернизма, кульминационной точкой которого стало противостояние (не во всех, но во многих сферах) прогрессистской бюрократии и консервативной интеллигенции. Обычно же все наоборот: революционные интеллигенты требуют вывести страну из застоя, «чтобы все было как в нормальных странах». А консервативные чиновники в стилистике героев Салтыкова-Щедрина повторяют: «защитим, не позволим, сохраним, преумножим». Да? Так вот на памяти моего поколения все было ровно наоборот. Молодые люди в галстуках на высоких чиновничьих позициях говорили: «А давайте иностранцев позовем, а давайте Нобелевских лауреатов сюда притащим работать, а давайте конкурс отгрохаем открытый — на весь мир. Ну, чтобы все как у больших, все как в нормальных странах было». (Можно сколько угодно издеваться над нефтяным карго-культом, но этот прогрессизм — пожалуй, самое ценное, что было в ушедшем десятилетии; хотя многие его проявления действительно курьезны и смехотворны.) А люди в вельветовых пиджаках, джинсах и водолазках отвечали: «Не позволим! Руки прочь! Это наше исконное! Мы за это святое в 90-е годы с голу умиряли».

В академическом мире проблема упрощалась (и одновременно усложнялась) тем, что эта граница пролегла внутри самой системы: на стороне прогресса оказались Вышка и Академия, на стороне «защитим и сохраним» — МГУ и большая

часть институтов РАН. А в мире культуры прогрессистские голоса были в абсолютном меньшинстве — весь этот чуждый модернизм воспринимался как еще одно средство коррумпированной бюрократии покуситься на святое (чаще всего, на здания в центре Москвы и Петербурга). Это было внешнее, а не внутреннее противостояние.

Сейчас все возвращается в привычное русло; эпоха просвещенного авторитаризма закончилась, чиновники и интеллигенция снова поменялись риторикой. Но тогда у всех прогрессистски настроенных интеллектуалов был когнитивный диссонанс. Чиновничество — «чуждый класс», иметь с ним дело, все равно, что продать душу дьяволу, но вторить за друзьями своих родителей «уберите лапы от исконных наших ценностей» было решительно невозможно. Я к тому моменту уже был сыт по горло риторикой постсоветской интеллигенции — узурпацией моральной позиции, склонностью собственную пустоту и бессодержательность маскировать обличительством и морализаторством. Поэтому с легкостью принял сторону прогрессистской бюрократии.

Вторая история — история Москвы. Мы часто говорим, что «Москва — не Россия», но, по моим ощущениям, Москва — это гипер-Россия, ее политическая и пространственная метонимия (такая часть, которая обладает наиболее характерными чертами целого в гипертрофированном виде).

Из-за того, что почти 20 лет у власти находилась одна и та же элита, Москва представляла собой заповедник, идеальный объект для какого-нибудь институционального экономиста — «правила игры» здесь не менялись десятилетиями, успело вырасти целое поколение чиновников, для которых модель неэффективного государственного капитализма была единственно мыслимой. Став мэром, С. Собянин обнаружил, что он ничего не может сделать — система коррупционной солидарности спаяла городские службы на всех этажах — все, от вице-мэра до директора районной художественной школы, чувствовали себя «скованными одной цепью». Поменять правила игры, не поменяв игроков, было невозможно. Началась «модернизация молотом». Городской департамент культуры тогда возглавил Сергей Капков, в прошлом — правая рука Р. Абрамовича и директор-реаниматор Парка Горького. Стоит ли говорить, что он столкнулся с той же проблемой, что и Собянин. И прибег к тому же решению.

Капков через своего советника (и мою хорошую подругу) Наташу Фишман предложил мне «заняться» исследовательским институтом при московском минкульте — собрать команду нормальных исследователей с западным образованием, предложить городу несколько масштабных «долгоиграющих» проектов, в общем, сделать новый институт городских исследований. Его щедрое предложение сильно напоминало предложение В.А. Мау, потому что при департаменте уже был один институт (Московский институт социально-культурных программ) и от меня, по сути, требовалось то же, что за год до того в Академии — провести оценку, понять, есть ли там что-то живое, уволить старую команду, набрать новую. Я сразу предупредил, что после того, как новый институт заработает — я уйду, что для меня это проект на 1-2 года, способ построить еще один пост-шанинский исследовательский центр в интересующей меня сфере социологии города. Но задача оказалась сложнее, чем показалось на первый взгляд.

Исследовательские институты при городских министерствах на протяжении многих лет выполняли важную задачу — отмывки денег. Их побочной функцией было производство правильных слов, релевантных историческому моменту. Когда я пришел в МИСКП, я был готов ко всякому, но не к тому, что я увидел. Ежегодный сборник работ исследователей московской культуры был озаглавлен «Культурная безопасность москвичей», официальный сайт института назывался еще характернее — «Русский сход». Риторика основных исследований представляла собой утонченную смесь цитат

из Евангелия, «Протоколов сионских мудрецов», Морального кодекса строителя коммунизма и должностных инструкций. В итоге, из 74 сотрудников через несколько месяцев в штате осталось 4.

Я думаю, институт как проект удался. Новая команда сделала несколько громких проектов — «аудит Москвы» (аналогичный аудиту Лондона накануне олимпийских игр 2012-го), мониторинг повседневных практик, исследования общественных пространств, исследования городских сообществ, исследования рутинных форм мобильности... Я ушел, как и планировал, полтора года спустя. Но команда Института — Алина Богаткова, Павел Степанцов, Иван Напреенко, Кирилл Пузанов — и сейчас делает самые интересные, на мой взгляд, исследовательские проекты на тему городской жизни в Москве.

— В доперестроечные годы некоторыми стимулами для написания и защиты докторской диссертации было незначительное повышение оклада исследователя и возможное профессорство для преподавателей, к тому же докторам разрешалась (не автоматически) совместительство. Теперь кандидатская, принимаемая на Западе как Ph.D, уже позволяет занять позицию профессора в российских и зарубежных университетах, а возможности совместительства для каждого, особенно в Москве и ряде крупных городов, практически не ограничены. Предполагаете ли Вы защитить докторскую диссертацию?

Есть ли у Вас видение свой социологической деятельности, активности на ближайшие, скажем, пять лет?

— Вы совершенно правы, докторская степень — это атавизм российской академической системы. Если бы сейчас выбор стоял: защита докторской или отъезд на PhD к одному из ценимых мною теоретиков — Дрейфусу, Ло, Латуру, Зерубавелю (увы, половина из них уже на пенсии, а вторая — не берет аспирантов), то решение было бы очевидно. После «Курракингейта» мое отношение к диссертационной машинерии несколько поменялось и, что-то мне подсказывает, что это новое сильное чувство взаимно. При этом я допускаю: через какое-то время докторскую все же придется защитить — просто чтобы продолжать прикрывать свои проекты и институции — но с моей стороны это будет акт небывалого конъюнктурного цинизма. Пока отбиваюсь.

Что касается профессуры... Есть только один вуз, в котором я бы хотел быть профессором. И, к счастью, это желание тоже оказалось взаимным. После моего ухода с деканства новый ректор Шанинки — Сергей Зуев — предложил мне остаться на профессорской позиции. За что я ему ужасно признателен.

Нет, никто не видит себя через пять лет. А если видит, то это видение следует считать оптической иллюзией. Батыгин в своем последнем интервью сказал: если буду жив, буду заниматься тем, чем занимаюсь сейчас или тем, что сочту нужным на тот момент. Зиммель в конце жизни признался: «В сущности, до 30 лет я был чудовищно глуп». До 30 лет он заложил основы теории социальной дифференциации. Но никто не застрахован от такого авто-вердикта. И слава Б-гу.